

АУТ.

80-е



] Марина Кулакова [

Марина О. Кулакова

АУТ. 80-е

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=44559290

М. О. Кулакова. АУТ. 80-е: ИПО «У Никитских ворот»; Москва; 2019

ISBN 978-5-00095-834-6

Аннотация

Конец 1980-х – особая эпоха. Близятся тектонические сдвиги и переломы в истории России, а в личной жизни молодой учительницы – свои потрясения и переломы. Получив письмо незнакомца из «мест не столь отдаленных», героиня вступает в странные, болезненные отношения. Это – ее первый шаг к «ауту», состоянию по ту сторону нормальной жизни. Сверхчувствительность, оголенные нервы, бессознательное стремление к смерти – его симптомы; не случайно на страницах книги появляются фигуры Башлачева и Цоя, этих гениальных «аутсайдеров», ставших символами эпохи. И если для мужчин выходом из аута могла быть только смерть, то героиня, несколько раз оказываясь на грани гибели, все-таки смогла спасти себя – ради новой жизни.

Марина Кулакова, рассказывая, конечно, в первую очередь про себя и о себе, нашла правильную интонацию для точного воспроизведения этого необычного времени – времени аута – 80-х.

В книгу также отдельными новеллами включены повести «Учительница» и «Живая» – номинанты и лауреаты многих литературных премий, вызвавшие большой читательский резонанс.

Содержание

Аут	8
Незнакомый дом в незнакомом городе	10
По следу	12
Дрессура	15
«Это было в Краснодаре...»	17
Подруга	21
Фрагмент с кровью	24
В Москву? – В деревню	27
Страх	29
Ответ	31
Учительница	35
Первое сентября	35
Не дожидаясь ответа	39
Смысл дается с трудом	42
Никто не говорил	44
Танцы плюс	46
Девочки	49
Мальчики	52
«Пишем "Число. Классная работа"»	55
Атака	58
Другой мир	61
Баня	62
«Хороший пес»	64

Марина Кулакова

АУТ. 80-е

© Кулакова М. О., 2019

© Оформление. ИПО «У Никитских ворот», 2019

* * *

Аут

Вот и отступает состоянье крика,

И отступает состоянье лома.

Я живу в состояньи аут,

Меня никогда не бывает дома.

Я живу в состояньи аут,

Меня никогда не бывает дома.

Меня никогда нигде не бывает, –

Я живу в состоянии аут.

Только что закончился зимний аут,

Сразу наступает весенний аут.

Весенний аут – особый аут,

А летний аут – это полный аут.

Снова приближается московский аут:

Ищите меня на аутодроме,

На аутотрассе, в аутосфере.
Если найдете – я вам поверю.

Меня просили сказать что-то
О принципах и правилах аутполета.
Я отвечаю для тех, кто не знает:
Лучше не знайте. В это не играют.
Об этом не судят
И не вспоминают.
Этому не учат. В это не играют.
Это – аут!

Аут

Я расскажу, как всё было. Хотя и подозреваю, что многие мне не поверят, поэтому и не рассказывала раньше: знаю – испугаются и не поверят. Это палка о двух концах: бояться и не верить.

Я испытала все, что хотел от меня страх, и вышла за его пределы.

Перед некоторыми вещами, а точнее, словами, я с детства испытываю животный ужас. Например, перед словом «преступник». За этим чувствуется – чувствуете ли *вы?* – опасное уродство, к носителю которого нельзя подходить близко. Порог, который *пре-ступил* этот человек, – нельзя преступать: я это не просто *знаю* – я это чувствую. Я знаю, что тюрьма существует, но это место, куда ни я, ни мои друзья, ни мои близкие никогда не попадут. Это вариант смерти, но более жуткий.

Поэтому история рождения моего сына – это особая история.

Я училась в университете. Училась хорошо: литература, поэзия – в целом, филология – была моей страстью. До того – в детстве, в школе – страстью была биология. Мои увлечения были именно страстными и глубокими: науки платили мне взаимностью. И если проблемы были – а они были, – то на учебе это не отражалось.

Стихи... Это тоже важно. Стихи я писала так давно, с такого глубокого детства, что воспринимала это свойство как естественное и даже предполагала его во всех других людях, как, например, способность читать. Но предполагать и то и другое было ошибкой, как оказалось впоследствии.

История, которую я расскажу, длилась пять лет. Вначале было слово, как и всегда, а события... События начались, быть может, когда я стояла в подъезде незнакомого пятиэтажного дома и думала: зачем же, зачем я приехала так далеко?

Я шла по улицам и дворам незнакомого города – городка под Луганском – и ловила себя на этом странном ощущении: дворы и пятиэтажки были знакомы. Что-то явственно знакомое было за каждым углом, в каждом разломе асфальта и, конечно, в запахах: в запахах земли, травы, деревьев и деревянных скамеек. Это были запахи и картинки детства – детского одиночества среди земли.

Дом... подъезд... третий этаж... и передо мной – невысокая черноволосая женщина. Она взглянула внимательно и подозрительно – меня словно окатило напряженное страдание.

Незнакомый дом в незнакомом городе

И вдруг, спустя секунду, в течение которой я претерпела этот взгляд, он слегка, недоверчиво потеплел.

– Марина?

– Да.

– Проходи.

Я никогда не видела раньше эту женщину. И она меня тоже. Но дверь открылась.

И я вошла. «Проходи», – еще раз повторила она, чуть суетясь, не сводя с меня напряженных изумленных глаз, и неопределенно махнула рукой. Я двинулась в направлении жеста и, пройдя через мягкую, коврово-плюшевую комнату, оказалась в другой комнате, совсем маленькой.

И сразу увидела себя. Свою фотографию. На большом зеркале, у окна. Она была закреплена как раз на уровне взгляда. Поэтому я сразу ее увидела, хотя, может быть, и не только поэтому. Увидеть сразу два своих отражения в совершенно незнакомом доме – это неожиданно.

– Это его комната. Я ничего здесь не трогала.

Это голос мамы Зины за моей спиной – и она тут же исчезла в сторону кухни. А я медленно двинулась к окну (или к зеркалу), но, не дойдя, остановилась и невольно провела рукой по стене. Вся стена комнатки оклеена картинками, тоже

до изумления знакомыми: цветными фотографиями животных из журнала «Юный натуралист» времен моего детства. Я никогда не вырезала этих фотографий, но пересматривала их когда-то сотни раз, и каждый журнал прочитывала и перечитывала – от корки до корки. И вот они – все эти овчарки, кошки, тюлени, волки, все эти дикие глаза и чуткие влажные носы, упругие бархатные уши и упрямые близкие лбы, – снежный барс, рысь, и собаки, собаки, – которых так хочется погладить, потрогать... Как же это знакомо! Жгучую причастность я испытывала к животным в детстве – жгучую, острую, – особенно к крупным хищникам, восторг и жалость такого накала, что трудно дышать. И ни малейшего страха.

Мама Зина позвала меня на кухню, где уже было выставлено на стол много разной еды, и она, отойдя от полной неожиданности, вызванной моим появлением, хлопотала и говорила без остановки, что фотографию ее сын отдал, и письма отдал, чтобы не забрали, «...дите хорошее, доброе, и ее жалеет, а уж его-то как жалко, сил нет», «...всё плачу, отец виноват: кабы не он, всё было бы по-другому, а вот... Да что же ты не ешь ничего, давай с тобой водочки выпьем; ох, да мне ведь скоро на работу, на дежурство, а ты оставайся, никуда я тебя не отпущу...»

Я осталась.

По следу

Пока она собиралась на работу, я смотрела на нее, чувствуя, что она не доверяет никому; но надо же кому-то доверять, и она пытается доверять мне, хотя ей это трудно. Трудно понять, как можно поехать так далеко, не предупредив, не написав... Она двигалась легко и быстро, подкрасила губы яркой помадой, от которой стали заметнее оспинки на лице, набросила косыночку на собранные в пучок волосы. Черты лица неправильны и некрасивы, но где-то в них, как между строк, проступает обаяние невероятно энергичного, быстрого существа, которое очень сложно сбить с толку. Но сбивали.

Она дала мне ключ, и я осталась в доме, куда я пришла по следу. По следу – чего? Отгадки, которая тревожила мой слух и нюх несколько лет? Что же я хотела узнать? Личное расследование – чего? – такого несчастья, как жизнь и судьба молодого вора-рецидивиста?

Мальчик, который вырос в этом доме, был моим ровесником. Мы никогда с ним не встречались. Но я знала о нем многое – так мне казалось. Теперь узнала еще больше.

Главное, что я знала и чего нельзя было исправить, – он «по ту сторону» моего мира, моей жизни. Он в тюрьме. Он – вор, с серьезным стажем и «послужным списком», был объявлен во всесоюзный розыск. Несколько раз виртуозно ухо-

дил от погонь и облав, совершал дерзкие кражи, которые обрастали легендами, – ограбления «из любви к искусству». Не брал, например, из огромного магазина с мастерски обесточенной сигнализацией ничего, кроме портативного магнитофона. Ну, типа, мне-то ведь ничего не надо, но вот музыку люблю и над вами, дураками, посмеюсь.

Я снова прошлась по квартире: никаких следов особой бедности или запустения, чисто, уютно...

Он уходил, сбегал из дома, будучи еще совсем маленьким. Неоднократно. Всё дальше и дальше он уходил – от дома. В девять лет его поймали на польской границе. Он хотел уйти. Далеко, навсегда. Он думал, что *за пределами, за границей* он найдет что-то лучшее.

Стремление перейти границу – может быть... Но откуда у маленького ребенка такое представление о границе и желание уйти? Я вспоминала себя: да, оно есть, это желание. Я тоже уходила и была наказана за это.

Есть такое слово «надо». Надо – в детсад, надо в школу. А когда вечером хочется побыть дома, – приходят подружки – надо гулять. Хочется не того, что надо, но «надо» – побуждает, на его стороне всегда большинство – большинство взрослых, большинство подружек. Может быть, здесь – в начале не было слова «надо»?

Я вышла на балкон. Густая листва дробила солнечный свет, хотя уже вечерело. Маленький город. *Выйти за* – может, эта потребность просто была очень сильной? Начавшись

с географии, с попытки преодолеть пространство, она распространилась на все, что его окружало?

Потом, многие годы спустя, я узнала, как жестоко наказывал его отец – по любому поводу и без повода, как держал семилетнего на одной руке за шкурку на весу – над пропастью – на этом балконе и рычал: «Выброшу!»

Иду по следу. По следу кого? Преступника? Я знаю, где он. Он в местах, на самом деле, весьма отдаленных, вопреки поговорке – в местах лишения свободы. Я иду по следу желания *совершить преступление*. Это невидимый зверь, и он на свободе.

Дрессура

В детстве я мечтала стать дрессировщицей тигров. Одной из любимых книг была книга «Браво, Аракс!». Там, правда, были львы, и они мне тоже нравились, конечно, но тигры казались... более хитрыми, что ли. Благородство львов не подлежало сомнению. Найти с ними общий язык не составляло труда, при понимании того, что и львы разные бывают – свидетельства дрессировщицы Бугримовой не оставляли в этом сомнений. И всё же тигры, как самый яркий и непредсказуемый противник, были притягательнее.

Еще очень нравились гепарды – самые быстроногие животные в мире, что тоже не подлежало сомнению: так было написано в детской энциклопедии. Вера в печатное слово была священной – она была формой религиозного чувства и подменяла собой потребность в догматах. СССР – самая читающая страна в мире. Гепард – самое быстроногое животное.

Но в гепардах чаровало не только их чемпионство. Нравилась аномалия, гибридность: большие кошки с собачьими ногами. Эти собачьи ноги умиляли и притягивали: я мечтала о собаке, о большой собаке, а дома разрешалась только кошка. У гепардов невтягивающиеся когти, они не могут лазать по деревьям. Зато как бегают! И всё же кошка с собачьими ногами – это так трогательно! Вот кто у нее рождается – ко-

тенок или щенок? Я сама чувствовала себя иногда детенышем гепарда.

Но я была человеческим детенышем. И тоже уходила из дома – за своими мечтами. Я запомнила, что это наказуемо, что – нельзя. И когда стала постарше, легко, хотя и частично, обходила этот запрет: уходила далеко, но всегда возвращалась к назначенному часу. Я возвращалась. Мне и в голову не приходило уйти совсем, выйти за...

...Мне стыдно, но не помочь – еще более постыдно – это беспокоит сегодняшняя мысль среди воспоминаний о детстве; мучает, ноет, и я свыкаюсь с тем, что имею к этому человеку какое-то отношение, и не какое-то, а самое прямое...

Меня вполне устраивал тот мир, в котором я жила, за исключением вставаний по утрам. Наоборот, я предпочла бы вообще никуда не ходить – дома играть и читать. Играла чаще всего в школу; любимыми игрушками были звери: они были плохими учениками, а куклы – хорошими. Но любила я больше зверей.

За невозможностью ласкать и дрессировать живых я любила игрушки и фотографии. Вот они, эти фотографии... и я в комнате с фотографиями зверей и моей фотографией.

«Это было в Краснодоне...»

Городок неподалеку от Луганска занимал и удерживал второе место в Союзе – после Москвы – по уровню преступности. Родина моего «героя». Что за аномалия, что за Клондайк правонарушений?

Я бродила по Краснодону, по его улицам, по парку и размышляла. «Это было в Краснодоне, в жарком зареве войны. Комсомольское подпо-о-о-лье поднялось за честь страны...» Все мои ровесники и те, кто постарше, знают эту песню. И знают роман, теперь выведенный за пределы школьной программы, – а тогда считавшийся неотъемлемой частью воспитания, частью кодекса пионера Советского Союза – «Молодая гвардия» Фадеева.

В школе мне не приходило в голову сомневаться в правдивости и истинности описанных в нем событий. Трагические судьбы героев – Ульяны Громовой, Олега Кошевого, Сереги Тюленина – были достоверны, потому что так было написано в учебниках, о них пели и говорили по радио. В реальности было не совсем так, как в романе. Живы свидетели и участники тех событий, их дети. Сейчас там тоже «проблемная зона» – Луганская народная республика, странная зона боли, тревоги, непокоя.

Конечно, надо учесть, что люди склонны воспринимать всё в меру своей заинтересованности или испорченности.

Молодогвардеец Сережка Тюленин был озорником и хулиганом, его тянуло на любые «подвиги» – это здесь общеизвестно. Местные подростки не знают, куда себя девать от скуки – так было всегда. Именно поэтому и сейчас ничего не стоит их организовать на любой «подвиг» – было бы кому организовать.

Памятник молодогвардейцам, построенный в Краснодоне, – воплощенный миф, каменная песня. Коммунизм «был построен в песнях», и он нашел себе еще одно воплощение – в камне, в мемориалах. Их строила нечеловеческая сила. К живым людям эта сила имеет весьма отдаленное отношение, и к здешнему каменному мемориалу люди относятся несколько отчужденно. Живая память и жизнь здесь другая – она в цветущих деревьях и детских качелях.

Работать здесь особо негде – только на шахтах. Тяжело, и не каждому из ребят, рожденных и подросших после войны, хотелось погружать себя во тьму земных недр и работать кайлом с риском для жизни даже ради высокой зарплаты. Работа в шахте похожа на работу в аду. Для желающих увидеть ад можно устраивать экскурсии. Добровольцев всё меньше. Поиск других вариантов занимает неокрепшие, как принято говорить, умы. Вариантов немного.

Обычная история: к середине восьмидесятых подросли два, например, мальчика, вместе искали приключений, легких денег и новых возможностей. Один за свои «подвиги» угодил в тюрьму. Другой, поскольку первый не «сдал» его, и

возможностей на свободе всё же больше, чем одна, – пошел работать в милицию. Один из них читал. Именно тот, что в тюрьме. И однажды ему на глаза попалась – вы удивитесь – подборка стихов в журнале «Нева», которая чем-то задела, зацепила его. Может быть, вот этим: «... Так получи же, на любовь настроясь, в уединенном тихом уголке, – злорадный смех, удар, бергамский пояс и лезвие иронии в руке...» Здесь и началась наша с ним история.

В ответ на эту свою первую центральную публикацию я получила кучу писем из разных городов, областей и воинских частей. В журнале не было адреса, но в сведениях об авторе стояла роковая фраза «студентка Горьковского университета». Университет получил, кроме обычной корреспонденции, ворох писем, адресованных выпускнице, и моя юношеская известность позволила этому совершиться: вся эта куча была торжественно передана мне незадолго до получения диплома. Письмо – это ведь очень серьезно, во всяком случае, для меня и моих друзей, то есть подруг, – это было так.

Я прочитала эти письма. Ворох этот немедленно выбросила – так ужасны были стихи и сами послания, так грязна бумага и замутнен взгляд, проступающий в строчках, в текущей и мажущей пасте, так тяжело косноязычье. Всё хотелось сжечь из гигиенических соображений, но я не стала делать такого красивого жеста – мне было некогда совершать ритуалы. Письма полетели в мусорное ведро, переполнив его и

не поместившись в нем. Я вынесла их на помойку. Но одно письмо осталось. Может быть, самое страшное, потому что самое внятное. Самое короткое.

Удар, какой-то внутренний толчок я почувствовала сразу, и я сначала определила его как особый вид страха, повергший меня в замешательство, хотя в письме не было ничего особенно страшного. Кроме того, что оно было с зоны.

Мне показался знакомым почерк. Я заподозрила ловушку. Да-да, это было сразу. Я заподозрила ловушку, и страшно было не то, что написано, а возможность подмены вот этих конкретных слов и смыслов. Мне было чего бояться – ужасно неприятное чувство. Я спрятала письмо, потом достала и перечитала, хотела сжечь. Передумала. Твердо решила не отвечать. Неделю носила письмо с собой. Оно было очень коротким, и я заметила, что знаю его наизусть.

Потом я подумала: *существо*, которого я боялась в реальности, не имело чувства человеческого достоинства, а в письме это чувство, как ни странно, было. Впрочем, это была гордость; тогда я плохо видела разницу и не задумывалась над ней. В общественном мнении гордость была достоинством.

Но почерк, почерк был похож на почерк другого, знакомого мне человека. Почерк был красивым, внятным. Внушительным и красивым.

Подруга

Экспертом по письмам была для меня Ольга. Она писала письма лучше всех. На двенадцати страницах. С картинками и вырезками из газет. А почерк у нее был витиеватый и странный – полная противоположность самой Ольге, правильной, пунктуальной и железно надежной.

Ольгу я заметила еще на вступительных экзаменах. Была она худа до последней возможности и перевязана каким-то нелепым ремнем. Светлых волос было подозрительно много. Тщедушная во всех своих внешних проявлениях, говорила она приглушенным басом. В глазах – прозрачная голубая решимость. Она производила впечатление человека, идущего на публичное самоубийство. Я ни за что на свете не могла бы представить себе эту девочку своей подругой.

Я, махнув рукой на экзамены, всегда читала что-нибудь необязательное. Ольга возникала на пороге и возвращала меня к реальной учебной жизни. Ее старательность казалась мне школярством, и я относилась к ней покровительственно.

Приходило лето, и я отправлялась на Каспийское море, в Юрмалу, в Танаис или куда-нибудь еще. Ольга оставалась помогать родителям в саду. Я возвращалась, не достигнув «земли иной» – земли радости и счастья, но в твердой уверенности, что теперь точно знаю, куда надо ехать будущим летом, чтобы ее достичь.

Приходило лето, начинались романтические путешествия, и даже если это был всего лишь городской пляж, то у меня это неизбежно превращалось в какой-нибудь «английский раут» с хрустальными бокалами и соответствующими кавалерами. Жизнь обещала праздник. Я слушала магнитофонные записи, Ольга тоже, но совершенно другие. Она часами сидела и расшифровывала записи фольклорных экспедиций и вместе с несколькими безумными юными фольклористами репетировала эти песни. Я любила народные песни, но... как-то по-другому.

Приходилось привыкать к несоответствиям. Несоответствие в этом случае, мне казалось, выдавали даже фотографии. Ольга фотографировала сама и нередко вручала фотоаппарат кому-нибудь из нас, чтобы запечатлеться. На студенческих фотографиях она сама, например, предстает юной француженкой с треугольным лицом, модной стрижкой и огромными глазами. И при чем тут «похва-ляа-аэлся вор-французик Расеюшку взятии-взятиии... Заплакэла Расеюшка...»?

Именно ее фотографии заставили меня с удивлением взглянуть в зеркало. Я всегда была уверена в том, что лица у меня нет. Просто нет, и все. То, что вместо него, – это просто некая туманность. Ну, может быть, с носом. Прямым и правильным, и что? «Тяжело она больна, у нее овал лица». Короче, нет лица, и все. И даже нарисовать его трудно. Никакая косметика не помогает. Как может помочь, например,

тушь, если ее наносят на ресницы, а ресниц почти нет?

На Ольгиных фотографиях, при полном отсутствии в них какого-либо качества, хотя и смутно, но всё же вполне определенно проступали лица. Оказывается, лицо у меня было. И было оно, к моему изумлению, капризным и властным, и как бы веселым, но с печальными и совершенно неуместными, неподходящими к этому лицу «суверенными» глазами.

Открытие у себя такого лица меня несколько насторожило. Я сходила в фотографию, и даже не в одну, получила фотокарточки, сделанные профессионалами, и успокоилась. Лица не было.

Фрагмент с кровью

Ольга была единственным свидетелем моей личной жизни. И она как раз знала то, чего я боялась. Не сразу, через неделю, но я рассказала ей о письме. Она тоже насторожилась. Явление моего «кровоавого мальчика» у нее дома еще было совсем свежо в ее памяти.

Тогда, зимой, он пришел именно к ней. Ее не было дома. Ольгина мама открыла дверь, узнала его – моего молодого мужа, «супруга», – как это всё не соответствовало ничему в нашей жизни! – предложила подождать. Он попросил попить – дала воды. Он был в телогрейке – со своей геодезической работы, – и она ничего не заметила. Ждал больше часа, притулившись на кресле в прихожей, плотно запахнув телогрейку, и когда пришла Ольга, пробормотал ей что-то невразумительное. Она не была рада неожиданному гостю, но, сняв сапоги, устало улыбнулась.

– Привет, раздевайся, чаю попьем. Ну, пошли, чего сидишь?

Раскрыл телогрейку, она обмерла: рубашка намочла кровью.

– Что это? Кто тебя?

– Да так... Порезали... Ты можешь перевязать?

– Немедленно в больницу!

Надо знать Ольгу: она не упала в обморок и слушать особо

не стала. К ней можно было идти за медицинской помощью, и она знала, действительно знала, что надо делать в том или другом экстренном случае.

– Не надо в больницу, не надо...

– Без разговоров! Немедленно в травмпункт!

– Не пойду. Дай бинта...

– Пойдешь!

Она достала вату и сделала ему временную перевязку. Пока она смывала с него кровь, он лепетал, путаясь в словах, что его встретили, наверно, перепутали, что он никого не знает. Наложив повязку, Ольга объяснила: если он не пойдет сейчас с ней, то через несколько минут умрет от потери крови и от ее заражения – чуть-чуть преувеличивая для придания правильной динамики событиям. Он бледнел на глазах. Его лихорадило. Было видно, что он очень напуган всем, что с ним происходит. Травмпункт находился буквально в Ольгином дворе, и она знала, что шансы выжить есть, но надо поступать правильно. В данном конкретном случае – идти в травмпункт.

Она отвела его и, слушая «показания», которые ему пришлось дать врачу, невольно обратила внимание, что плетет он уже что-то другое, хотя и столь же невразумительное. И что он, скорее всего, не пьян, хотя и делает вид...

Что на самом деле случилось с моим юным мужем, так и осталось неизвестным. Зато, притихнув и проболев месяц, он наконец дал мне развод и прекратил угрожать и преследо-

вать меня, словно эти кровавые шипы, на которые он напоролся, остановили его. Отрезвили. Заставили понюхать крови, что важно, – собственной крови, и – на тот момент – защитили меня.

В Москву? – В деревню

А мы тем временем защитили дипломы. Мой диплом был посвящен проблеме свободного стиха в современной поэзии. И вместе с дипломом, в котором было красиво выведено «филолог, преподаватель», – получили распределение. Тогда оно еще было – распределение. В филологах-преподавателях, а проще говоря, учителях русского языка и литературы, нуждались, прежде всего, сельские школы.

Я могла бы остаться в городе – у меня давно шел журналистский стаж, были центральные публикации. Можно было не только работать в редакции молодежной газеты или на телевидении – можно было смело ехать в Москву.

Но я поехала в деревню. Меня всегда притягивала к себе деревня – был в ней для меня какой-то магнит, какая-то истина, – как в старых песнях. И вряд ли будет преувеличением сказать, что меня притягивала земля. Да, меня притягивала земля. Ощущение поля. Мне казалось, что есть какая-то связь, важная связь, – меня и земли, и мне надо еще что-то понять и, может быть, избавиться от какого-то обмана, каких-то ненужных проблем, опутывающих мою голову. После всего, что я учила и сдавала, после всего, что я уже пережила и в чем продолжала запутываться, хотелось предельной простоты.

От распределения по сельским школам все мечтали изба-

виться. Мало кто собирался работать в школе, даже в городе. Мне же казалось, что это, по меньшей мере, нечестно. Нечестно для городского человека не думать о деревне, а для взрослого – не думать о школе. Думать в том смысле, что делать что-нибудь. Молодых надо призывать в школу, а не в армию. На два года. Учителями или помощниками учителей.

И я поехала работать в сельскую школу. Я бы сделала это, даже если бы не было никаких других, скрытых причин и мотивов.

Страх

Но была и скрытая причина. Мне хотелось уехать на край земли и спрятаться, уехать как можно дальше, чтобы меня нельзя было найти. Я не могла отделаться от чувства, что меня кто-то преследует. Я не могла избавиться от страха. Бывший муж – очень странно было даже мысленно называть его так, во всём этом была такая мучительная ошибка, – не появлялся, но я чувствовала, что появление не только возможно – оно будет. *Оно* проявится, раскроется; я чувствовала, что мне грозит опасность.

И я смотрела на *письмо*, как на подтверждение этого чувства, на разрастание его, на новый вид, форму, которая грозит ростом, новой веткой, новым витком. Пристально рассматривала штамп на конверте, пытаюсь раскрыть какой-нибудь подлог или подвох. Штамп, как и обратный адрес... Ленинск-Кузнецкий. Далеко, на краю земли... Нет, не может быть, это что-то другое...

Две недели мучений и страхов, жутких мысленных картин, чем это может закончиться, и терзаний совести: а вдруг я всю жизнь буду мучиться потом, что не подала руку помощи и поддержки бедному оступившемуся человеку. Ну не руку, конечно, – хотя бы взгляд. А вдруг я должна помочь – и не помогу, хотя бы крупницей своего внимания... Но я опять иду по краю и готова шагнуть в трясину. Через две

недели я поняла: это уже схватка с собственным страхом, который гложет меня и вот-вот сделает своей жертвой, полностью подчинит.

«...Из прихоти нищего – "подайте мне монету, да обязательно серебряную" – я морочу тебе голову, считай так...»

И я написала в ответ всего две строчки: дескать, ну что же ты так уверен, что я тебе всё равно не отвечу. Думай, учись на ошибках. Читай книги. Живи и выздоравливай. Ну, чтоб совесть меня не мучила.

ОТВЕТ

Получила ответ. И убедилась: это другой человек. Это не новые кровавые игры *мальчика* – это другой человек, другая судьба, совсем. Совсем другая.

«...Понять тебе меня сложно, но, возможно, кое-что из моей жизни поможет тебе в этом.»

Идя сюда этапом, я считал, что готов к любым трудностям и моего опыта достаточно для того, чтобы пройти их. С таким настроением без особых сложностей дошел я до последней пересылки. Всё как обычно, конвой развел нас по камерам, и попал я в камеру, вид старожиллов которой показался мне несколько необычным: упитанность, румянец, бодрость. Но особого значения я тогда этому не придал – сибиряки, как известно, народ стойкий.

...Тебе не представить моего тогдашнего положения, я и сам его толком не понимал. Что обещало мне гостеприимство этой дичи? На что можно было надеяться? Ни на что... Единственный выход – смерть, но и то выходом она могла быть лишь при том условии, что ни одна падаль, меня тогда окружавшая, не успеет ко мне прикоснуться. Передо мной встал выбор: или пополнить ряды активистов, или сменить свое имя на женское. Шансов сорваться – ноль, время подумать – час, единственная защита – осколочек лампочки. Я лег на нары, накрылся бушлатом и поизрезал вены;

единственная надежда была на то, что успею истечь кровью за час.

Минут пятнадцать я еще переживал: вдруг с чем-нибудь обратятся ко мне и увидят мое состояние раньше, чем наступит критический момент. Затем – холод в конечностях, нарастающий звон в голове и, что удивило меня тогда, не мрак, а свет, всё ярче и ярче, как будто бы пронизанное солнечными лучами облако окутывало меня. Затем страх – куда же я сейчас попаду? – жаркая волна, прошибает пот и поглощает покой: успел... сознание путается, оно выхватывает из памяти вперемежку то что-то хорошее из прошлого, то действительность, то чей-то образ... Минут пятнадцать еще помнишь себя. Через час с лишним, когда я очнулся в санчасти от кордиамина с кофеином и от нашатыря, я ясно помнил, что до последней секунды участвовал в каких-то событиях, что-то видел, вроде бы доброе, но что именно – не вспомнить. Как только сознание вернулось, меня залихорадило: все-таки жив, лишь зря обессилил себя. Обрадовался ли, когда узнал об этом? Нет. Много прошло месяцев, прежде чем кое-что частично восстановилось в душе. Двадцатилетним пацаном вошел я в камеру "83", или, как я позже узнал, так называемую "пресс-камеру", а вернулся к жизни меня хирург постаревшим лет на пятьдесят. Не то чтобы очень уж сильно я перестрадал, просто понял многое о людях и, в частности, о себе.

К чему я тебе говорю всё это? В надежде, что поймешь

наконец, что ты – единственная светлая и чистая часть души моей, тобой одной жива она. Я знаю, что я сейчас люблю, и прошу тебя лишь об одном: не возражай, не обобщай моих чувств – они не из теорем и формул. Практика не поможет тебе понять меня. Ты и не догадываешься, быть может, что причиняешь мне боль, совершенно ни за что. А я обожран ею, я не хочу ее от тебя, но какими словами просить тебя, чтобы ты поняла меня, я не знаю.

Будь мы и вблизи, объяснить было бы не легче, потому что не сводится всё к тому, чтобы узнать тебя, приблизить. Ты всё нужнее и нужнее мне, без всякой отдачи; я слышу тебя и этим живу. А близость – это точка, после нее любовь еще долго может стоять в зените, может начать затухать, ярче уже не вспыхнет, новой радостью не утешит и, в лучшем случае, обречена на повторения с искусственными обострениями. Для меня ты сейчас девочка, во всех смыслах, и этим дорога. Я не хочу сказать, что предпочел бы довольствоваться этим всегда и во всех обстоятельствах. Но отдаленность, растворение понятий "давать" и "брать" в отношении друг друга, время на то, чтобы всё осмыслить – это необходимый стаж, без которого лучше не ложиться в одну постель. Ты, может быть, улыбаешься сейчас... Да, лагерь забрал у меня многое, но он и многое дал, чтобы что-то понять».

Улыбалась ли я? Мне было не до улыбок. Было страшно, но не ответить я не могла. Я перечитывала письмо по многу

раз и буду потом так перечитывать каждое. Я чувствовала запах человека, который писал это: не только запах бумаги и табачного дыма – это был его запах, и он пугал, и сквозь ужас притягивал меня.

Между тем, я действительно поехала в деревню. Мой адрес изменился, и знали его немногие: село Большое Устинское Шарангского района Горьковской области.

Учительница

Первое сентября

– Здравствуйте! Садитесь.

Я обвожу глазами класс: их мало в восьмом, всего шестнадцать. Они напряженно смотрят на меня. Молчат. В сентябре в школе, тем более сельской, гораздо больше солнца, чем обычно.

– Я буду преподавать у вас русский язык и литературу и буду вашим классным руководителем.

Сегодня я одета строго. Но еще недавно они всё видели, как я иду по дороге в джинсах и оранжевой майке, с дорожной сумкой через плечо. По многим приметам – почти неуловимым и вполне явным – они видели: я пришла издалека.

Когда идешь от автобусной остановки, дорога ведет к клубу: направо – школа, налево – церковь. Но дорога, длинная дорога, направляет вас прямоком к Дому культуры – дому со съехавшей крышей. Он виден издалека. Асимметричная крыша – признак архитектурной мысли. Рядом жилой дом, двухэтажный, и он, например, крыши не имеет вообще. Нет, крыша есть, но зрительно она отсутствует. Жить предстоит именно здесь, эстетические пристрастия отбрасываем.

Я приехала в последних числах августа и уже познакомилась с директором и некоторыми учителями. Поселили меня в маленькой комнатухе. Дали стол – из «конторы» – и старый железный камин-обогреватель, предупредив, что с отоплением – проблемы.

И вот уже идет урок – я веду его, и он идет. Восьмой класс, совсем еще дети, а я – не просто новый учитель, но – классный руководитель, новая «классная». Мне самой не очень-то привычно стоять у доски: я слишком хорошо помню себя сидящей за партой. Я буквально раздваиваюсь, мне кажется, что за партой – тоже я... Я так привыкла быть ученицей, пусть не самой примерной – мечтательной и опаздывающей, – но читающей и серьезной ученицей. Неужели мне теперь не сидеть за партой так же, как они?

Слушают очень внимательно: я стараюсь, чтобы было интересно. Мне самой, во всяком случае, очень интересно, и они зачарованно меня слушают. Прерывает и спрашивает о всяких пустяках и готов поделиться своими мыслями, легкими и веселыми, как щебет птиц, только один – белоголовый и светлоглазый мальчик с последней парты. «Тише, Куковякин!» – шикают на него. Слушают меня. Я пробую спросить их о чем-нибудь. Ну, например, о том, о чем я только что говорила. Отвечает только одна девочка – темноволосая, с глубоко посаженными карими глазами. Наташа. Губы ее изогнуты в улыбке, но она не улыбается. Она изучает меня. Я чувствую, что она видела и видит больше, чем другие.

Многие из них никогда отсюда не выезжали, а до большого города отсюда триста шестьдесят километров. Некоторые никогда не видели поезда, метро, высотных зданий. И, переводя взгляд с одного из них на другого, я слушаю, как они читают, некоторые – по слогам... А после уроков, выйдя из школы и вглядываясь в темные избы, вслушиваясь в запах дорожной пыли и придорожной травы, в запах земли, я вдруг чувствую и только начинаю понимать, что нахожусь на другой планете. Здесь живут натуральным хозяйством, патриархальным укладом, вечными ценностями: природой, семьей, трудом, ленью и крепкими алкогольными напитками. В магазине на момент моего приезда нет ничего, кроме водки и морской капусты. Поют песни, которые я так люблю, играют свадьбы и, в общем-то, живут хорошо. Школа нужна, как нужна была когда-то церковь, теперь (тогда, в восемьдесят четвертом) разрушенная и ненужная. Ее хорошо видно из окна моего класса.

В школу ходят, пожалуй, даже охотно, но уроки учить – такого обычая нет, во всяком случае, приоритет хозяйственных дел, которых и вправду полно при натуральном-то хозяйстве, неоспорим. Такое впечатление, что уроки учу, кроме, может быть, Наташи, Вали и Люды, только я. Дело в том, что я всегда писала грамотно, не зная правил. В университете, на первом курсе, в самом начале занятий, нам дали диктант повышенной сложности. Студенты-первокурсники написали его на двойки и тройки. Три человека, включая ме-

ня, получили четверки и были освобождены от предмета под названием «грамотность», где вновь и вновь студенты-филологи разбирали и заново учили русское правописание. Зачет наша «грамотная» троица получила «автоматом». А теперь мне эти правила надо преподавать! И мне их приходится учить! И вечерами я учу свои уроки – куда же деваться?

Здесь о школе, об уроках говорят только в пассивном залоге: «учат – не учат». Завтра не учат – праздник. А послезавтра – учат. Не говорят «учимся» или «не учимся» – таких словоформ просто нет в здешнем языке. Полная пассивность и зависимость от высших сил.

Боже мой, неужели это так безнадежно – «учат»? Или – «не учат»? Чему же я – могу их научить? Ведь они просто-напросто не понимают меня, не понимают, что я говорю. И когда, в какой момент, в них, в детях, зарождается понимание? Знание? Когда зарождается, например, совесть?

Глядя на симпатичного второгодника, вспоминаю о своем «корреспонденте»: чего же он так и не понял в школе, чему же так и не научился?

Не дожидаясь ответа

«Пишу еще, не дожидаясь ответа, не могу не сказать всего, что надо сейчас сказать. Ты можешь брать от жизни все, в широком ассортименте – будь у меня такой же выбор, я бы не ошибся, – но с детства выбор у меня был весьма ограниченным. Я – свой в преступном мире, здесь мне повезло: не с уголовной лохмачевкой свела меня судьба – с деловыми людьми, с фраерами этого мира. Я прошел хорошую школу и понял: мы нужны не только здесь, но и там, у людей. Вам нет вреда от того, что я обобрал кассу: страдают те, кто, наживаясь на трудягах, диктует им: "Труд облагораживает человека". Но я не только родился не там, где надо, но и опоздал лет на 30–40. Советская власть расплодила самозваную уголовщину, грязными преступлениями очерняющую нас. Всё больше этой дичи, и всё наглее она. Цивильная алчность и подлость: бей не бей, хоть внушай, хоть убивай – святого, чисто воровского не внушишь. На воле отбирают у трудяги получку; попадая сюда, вступают в актив и портят нам погоду. Нас остались десятки, их – тысячи. Из моих наставников никого не осталось. Шесть человек была бригада, не считая меня, малолетки, "сынка" – и нет никого. Но они знали, за что умирали: по тридцать-сорок лет тюремного стажа, десятки судеб, направленных на путь истинный, и загубленных, по праву, не меньше. Они прожили

свою жизнь с толком и там, и тут, светлая им память. Я вдохнул этого ветра, но в октябре прошлого года мне перекрыли дыхание полностью, в силу которого "не ставшим на путь исправления администрация, на свое усмотрение, может добавлять к неотбытому сроку от года до пяти". Вставшие на путь исправления – это простые ребята, случайные здесь: автоаварийщики, завыв, дебоширы и прочие, то есть люди, которых ждут на воле. До сих пор в наши обязанности входило оберегать их от шакаля, от подлой, наглой красноты уголовной. Против этого администрация ничего не имеет, но ей нужно, чтобы мы не играли, не пили, работали – в общем, "соблюдали режим содержания". Пить я никогда не пил без меры; бывает, по образу жизни, необходимо – пью, но не напиваюсь и не пьянею. А вот работать... В лагере я не держал в руках ничего тяжелее колоды карт.

Люблю музыку и не отказываю себе в этом удовольствии здесь, но ее "не положено". Легально она стоит денег – у папы я не попрошу, лучше выиграю. В основном, с нами смиряются, иногда сажают "на фунт", всё изъяв. Скуки ради протестую, доказываю, но кто послушает? И я сижу, выхожу и всё приобретаю снова, но когда-нибудь мне это надоест: очередную руку, протянутую с намереньем изъять, я сломаю, а пустую голову расшибу дураку, как арбуз. По крайней мере, это будет разумнее, чем "по пахоте" стремиться туда, где меня никто не ждет.

Пусть недолюбил, недосмотрел, недожил, но остался

тем, кем родился, и после меня не останется ни одной безвинно обиженной души, и как бы ни хотел я жить, короткую жизнь не променяю на длинное существование. Смерть не так уж страшна. Мне приходилось не раз доводить себя до последней грани: нет, не весело, конечно – тяжело, тяжело и горько, а в последние секунды страх перед неведомым захлестывает ум. Но ненадолго: чувство это мощное настолько, что выматывает за секунды, безразлично уже... Очнешься под капельницами, с кислородом: "Забегали, сволочи!" Месяца два, три, иногда и больше, тебя не хотят замечать. Сейчас вот уже второй месяц отдыхаю, до этого был перерыв в пять месяцев, еще раньше – в два с лишним; в общем, терпимо, но нервная нагрузка давит.

Вот уже сутки на исходе, как сел я за это письмо. Читаю, перечитываю твое, расшифровываю смысл: дается с трудом – отвлек от гражданской речи. А то, что считаю нужным тебе ответить, вковываю в гражданские слова и пишу с перерывами на цифирь и музыку...»

Смысл дается с трудом

«Прошел хорошую школу...», «святого, чисто воровско-го...», «светлая им память...» – с ума сойти можно! Ну не сумасшествие ли это? Клиническое. Как можно так извратить все, на чем стоит мир? А на чем он стоит? Может, это я сумасшедшая? Может, я чего-то не понимаю, причем кардинально? Какой справедливости хочет этот человек, какие ценности, какие права он отстаивает? Что значит «судьбы, загубленные по праву»? По какому такому праву? Господи, что это за бред?

Я закрываюсь в своей комнате, перечитываю и цепенею от изумления. Страшно! Но письма эти не вызывают желания выбросить их в мусорное ведро. Наоборот, ценность живой человеческой души, попавшей в какую-то ловушку, мучительно и внятно говорящей со мной, становилась для меня всё очевидней, яснее... Чем грустнее, тем яснее.

...Осенний Устинск, если не считать некоторых бытовых неудобств, демонстрировал разные виды дождей и неожиданную красоту: реку Усту, поросшую дремлющим – дремучим лесом. По-марийски слово «уста» означает – «мастер». Река по имени Мастер. Каждый вечер я хожу к реке. Жизнь, молчаливая жизнь, похожая на смерть, стоит вокруг, полная до краев, до небес, и в тишине таится что-то ясное и высокое, как беспричинные слезы. На остывающей земле зябнет

бело-розовая клюква, и ей неизбежно пройти через горечь и терпкость, через все изумления, прежде чем обрести драгоценный цвет, целебность и прозрачность.

А утром – в школу. Вот еще один мой класс – шестой. Там шелестят, чирикают, лепечут, дерутся, всячески шебуршат. Суммарный звуковой фон заставляет всё время напрягать голос, и через неделю я временно перехожу на свистящий шепот – связки не выдерживают. Тем более, что у меня есть еще один класс – четвертый: двадцать два четвероклассника. Теперь я уже знаю, что это много. Но я не могу позволить себе жизнь без чтения им сказок. Даже свистящим шепотом. Им – сказки. Пусть будут сказки. Со счастливым концом. А мне – письма. У меня свои уроки.

Никто не говорил

Рядом со школой – интернат, где живут ребята из соседних деревень. И воспитательница Галина Леонидовна, фундаментально-основательная и при этом активная и заводная, делится свежими новостями: «Деньги стали пропадать – мелочь из карманов. Вчера поймала воришку прямо за руку. Прямо за руку схватила! Говорю: "Ты что, ты что это делаешь, негодник такой?! Разве ты не знаешь, что нельзя этого делать? Разве тебе мама не говорила, что нельзя воровать, нельзя брать чужое?" А он головой трясет испуганно: "Не, не говорила". – "А отец говорил?" – "Нет, не говорил". – "Никто не говорил?!" – "Никто не говорил". А я и подумала: а может, и правда никто не говорил? Что они им говорят? Да и отцы-то с матерью не у всех есть"». Она готова и смеяться, и плакать от такой нелепости, от непорядка, от возмущения: «Вот и воспитывай их».

... Что же, вот и причина. «В начале было слово». И должно быть слово. Но кто-то ведь должен его сказать. Кто-то должен сказать слово «нельзя». Делай это, а это – нельзя. Обычно, просто, как земля и небо. Культура – система запретов.

Я смотрю в окно из своего класса – на церковь, на бывшую церковь, где когда-то говорили с каждым о добре и зле, о законе и благодати, о грехах и наказании. Хорошо, что оста-

лась школа, но тут же всплывает: «Я прошел хорошую школу...» Я зябко повожу плечами, кутаюсь в шарф – холодно. Боже мой, Боже!

Танцы плюс

Директор Николай Александрович, историк с внешне-стью римского легионера, настоятельно рекомендовал мне вести не только «часы», но еще какую-нибудь студию или кружок. И он, и другие учителя, да и родители смотрят на меня с некоторым подозрением: никогда еще сюда никто из «городских» по доброй воле не приезжал. Это во-первых. Во-вторых, директора я напрягаю резким осуждением войны в Афганистане и своей трактовкой понятия «интернациональный долг». И ему, возможно, кажется, что меня вполне могли за это дело «сослать». Я смеюсь, рисую и пишу газету на День учителя, имею свое мнение, отличное от учебника по многим вопросам, – это продолжает настораживать.

Взрослые почему-то не выдерживают моего взгляда, опускают глаза – меня вот это озадачило и удивило, но вскоре я перестала обращать внимание на взрослых. Выяснилось, что далеко не все учителя знают, кто такие Окуджава, Высоцкий, Тарковский, что многие не читали ни одной книги Валентина Распутина. Я провела учительскую читательскую конференцию по Распутину и полностью переключилась на детей.

Интерес детей был лишен оттенка подозрительности. Они смотрели на меня во все глаза и не отводили, не опускали взгляда. Сначала я была для них чем-то вроде антилопы или гепарда. Мы сходили «на костер», поговорили по душам, по-

пели песен – и – подружились.

По свежей еще памяти о своих студенческих занятиях пантомимой и пластикой я объявила в школе студию «современного танца». А тем временем тоска по дому, по привычной жизни, без крыс, мышей и холода, со всеми удобствами, подкрадывалась и подкатывала – я отгоняла ее всегдашней самоиронией. Пробовала писать частушки – получалось грустно: «Эх, доска моя, доска, мелом побеленная, хоть и черная доска, а тоска зеленая».

Во всём есть свои хорошие стороны, убеждала я себя: «О славе, о счастье, о ранге //Каком еще можно мечтать?// – Я – первая леди Шаранги, // Умею читать и писать»; «Я люблю свое жильё // По причине, что мое, //Хоть у этого жилья //Ни условий, ...» никаких.

Ко мне на кружок «на танцы» неожиданно пришло полшколы – все девочки и старшие мальчики. Я, честно говоря, обалдела, оказалось – традиция. В школе была традиция: все выпускники должны были уметь танцевать вальс. Под современными танцами они понимали, в том числе, и подготовку к последнему школьному вальсу. Это считалось делом чести, в том числе и для мальчиков.

И на первом же «Осеннем балу» в деревне я увидела то, что, казалось, можно было увидеть только во сне: в зале, украшенном яркими осенними листьями и воздушными шарами, кружились романтические пары. Совсем юные пары. На девочках были романтические платья, столь далекие от

всякого представления о моде, столь естественные и легкие, что это зрелище казалось абсолютно нереальным. Но это была правда. Как и всё остальное.

К тому моменту я уже забыла многие слова из вузовских учебников и перестала чувствовать себя антилопой гну. Кроме часов русского и литературы, мне дали еще «Этику и психологию семейной жизни». Ну, хорошо, я найду что сказать. Или – что не сказать? О Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Маяковском, Есенине, Рубцове, Еременко, о любви и дружбе, об этике и психологии.

Свою тоску о любви и красоте надо плавить в своем сердце – от этого возникают слезы. Слезы над книгами. Каждый ребенок раскрывается, как чистая тетрадь, как сжатый кулачок, как цветок шиповника или другой цветок. Вот эта девочка напоминает чем-то тюльпан, только его женскую, девическую ипостась... Тюльпанша.

Дала Наташе выучить Рубцова.

Девочки

«Жили-были дед да баба, и была у них внучка...» Еще в сентябре я видела, как девочка с глазами, видевшими море, невысокая и тоненькая, загоняет гусей во двор недалеко от школы. Наташа заметила, что я смотрю на нее, и я почувствовала, что она смутилась. Ей было неловко за гусей: гуся не были ее стихией – гуся были нелепой реальностью, и она сначала отвернулась, отводя рукой темные волосы, и я снова очертила взглядом ее профиль, который изумил меня еще в классе, на фоне окна. Потом она посмотрела на меня с улыбкой и поздоровалась.

Она училась отлично. Легко. Словно пришла издалека и всё, что надо в школе, уже знала и теперь только повторяла. Она действительно видела больше других, во всех смыслах. Например, видела море – была в Артеке. Училась охотно и задумчиво – припоминала. Могла написать сочинение на любую тему.

Валя каждый день приходила из соседней деревни Чуры. Чуть не пять километров, в любую погоду – она никогда не опаздывала. Километры пройдены, глаза сияют. И в них – такая вера в счастье, вопреки убогой и страшной домашней реальности, и такая любовь к жизни, к дороге, ведущей в будущее, к учителям... Она пишет в сочинении, как она любит дорогу в школу. Кажется, что такое радостное ожидание

счастья может растопить все льды и все преграды.

В шестом – загадочная девочка, похожая на маленькую балерину. Безупречно грациозная, блистательно одаренная, темноглазая марийка Люда. В отличие от других марийских детей, коих немало, она не умеет делать ошибки: она всё делает с загадочной точностью, безупречностью и грацией. Она просто не умеет делать ошибки. Зато другие... не умели их не делать.

Я часто смотрю внимательно на девочек. Так ли уж красивы те, кого мы видим красивыми? Просто в них есть что-то другое, что заставляет нас не отрывать от них глаз, может быть, вот эта точность попадания в центр жизни. Камертон... Существо, не лишенное, может быть, недостатков, смотрится иногда так чарующе. И понятно – они созданы для любви, для того, чтобы другие настраивали по ним свой взгляд, свой вкус, свой «угол сердца».

«Остальные, – писала я тогда в своей дневниковой тетради, – чувствуя опасность промедления, созданы для того, чтобы выйти замуж за любого, ближайшего, почти первого встречного, рожать детей и найти в семье своей неисчерпаемый источник страдания, горестей и радостей.

Я не из них. Не из первых и не из вторых. Я хотела бы – если бы хотела – родить ребенка от человека, который с другими не сравним. У меня нет важнейших женских качеств – терпения и смирения, смирения со своей судьбой. Эти качества нельзя развить, их просто нет. Я не выношу ря-

дом с собой людей, которые мне неинтересны или физически неприятны. Одиночество несравнимо предпочтительнее. Я никогда не смогу преодолеть барьеры, отделяющие меня от других людей. Играть в общение так тяжело, хотя я немного умею...»

Мальчики

Из мальчиков внимание притягивают те, кого учить труднее всего. Они разные: некоторые просто по-партизански молчат в ответ на все попытки предложить им что-нибудь написать или сказать. Один охотно говорит, но вдруг выясняется, что писать он вообще не в состоянии – дислексия, дисграфия. Но некоторые смотрят так внимательно и серьезно, что я невольно чувствую, что я несколько не умнее их, и главное – не взрослее. Что между нами абсолютно равноправные отношения – уроки взаимны. В их лицах есть что-то вечное, что нельзя побороть ни возрастом, ни знаниями, ни силой оружия. Инфантильные дети бывают, оказывается, только в городе.

Проверка тетрадей сначала травмировала меня до глубины души, потом я прекратила это самоистязание. Я перестала расписывать красной ручкой их ужасные старания и ставить двойки, поняв, что на данный момент это бессмысленно и бесполезно. Начала задавать учить стихи и ставила четверки и пятерки – крупно, в дневник – и, видя их счастливые, сияющие глаза и лица, радовалась сама, поняв, что надо только немного терпения, надо просто самой сказать и повторить, всего лишь семьдесят восемь раз повторить эти слова, и они запомнят и напишут всё правильно. Ведь кто-то должен первым сказать и повторить для них слова, которых

они просто никогда не слышали...

Мы с детьми любим ходить в школу. А вот уже будни, «после бала»: мы идем дежурить на ферму, в тяжелых неуклюжих ватниках, среди снега и звезд, тающих на губах. Топленые звезды имеют особый вкус.

В далеком, другом мире этот говорок, их говор, называют диалектом. Я упиваюсь этим диалектом, пью его, как молоко.

На ферме дети знают, что нужно делать, и все делают сами, и говорят, что и делать-то нечего: «Что хоть тут делать-то? Да что бы ни делать: рубить, пилить, доить, сгребать, подавать – подумаешь, часа два поработать».

Мои родители – и мама, и отец – росли в деревнях. А я – городская и ничего не умею делать, кроме того, что книжки читать, только помню, что делать надо много. И делаю, насколько умею. Смотрю на детей и люблюсь. И пью молоко диалекта. Пока еще не забыла все прежние слова, надо что-нибудь записать.

Бессмертные дети, бессмертные дети,
Вы снова приходите в школу ко мне,
Где я говорю вам о жизни и смерти,
И вы так прекрасно не верите мне.

Бессмертные дети стихи мне лепечут,
Калеча грамматикой свой говорок.
Бессмертные дети бегут мне навстречу,
И я улыбаюсь: «Начнем же урок!»

«Пишем "Число. Классная работа"»

Я бегу утром в школу, со звонком влетаю в класс, сбрасываю шубу, которую, впрочем, приходится тут же накинуть снова. Заранее приходиться к первому уроку и проводить зарядку мне не удастся, хоть убей. Так же, как не удастся заспать раньше, чем в два-три часа ночи. Читаю книги, книги и журналы: я выписала себе «Иностранку» и кучу других журналов.

«Откроем тетради для творческих работ», – пришло время сочинений. И я стала задавать сочинения, как же без них. И в первый раз задумалась: ведь это трудно. Младшие писали на тему «Моя комната». Тема была рекомендована учебником и методическими пособиями. Стремясь развеять скуку бытовых описаний, я предложила описать комнату, какую хочется. Комнату мечты. Ожидала фантазий. Получила описания комнат в домах ближайших соседей. Это был хороший урок. Не говоря уже об орфографии.

Я уже не ставила двойки, просто старалась не смущать их лишней раз. Снова выручали стихи. «Однажды в студеную зимнюю пору...» – читал деревенский мальчик, и я смотрела в окно на полуразрушенную церковь, как во сне. Если этот сон так долгов – Некрасов, зима, крестьянские дети, – то что же реальность?

Новость учебного года – информатика. Компьютеров

здесь нет и в помине, но информатика теперь есть. Ведет ее Нина Павловна, математик, очень хороший учитель, и я иду вместе со своим классом на этот урок, чтобы не отстать от них – ведь у нас, когда мы учились, еще не было информатики. Записываю вместе с ними, сидя на последней парте, то, что диктует Нина Пална, радуясь шансу снова побыть ученицей, но, глядя на их затылки и напряженные шеи, думаю о своем.

Чему же мне учить их? О чем рассказывать? О «Палате № 6», о Евгении Онегине и Татьяне Лариной, о Базарове и Чацком, о Раскольникове и... Как для меня скучна фантастика, так и для них точно так же – всё это. Боже мой, какую невероятную информацию о жизни на других планетах, в других измерениях я должна передать!

Наташа, Сережа, Саша, Люда, Паша, Света, Валя... Научить их думать о том, что была и есть жизнь, которой они никогда не увидят? Настоять на том, чтобы они читали и помнили о ней? Устроить им купание в волнах страдания, роскоши и блеска, в волнах человеческого интеллекта, зная о том, что скат каждой волны окрашивается кровью. Задать им сочинение о «Войне и мире»?

Такова «программа». Программа, которую надо поставить в их головах. Программа, которая поставлена в нашем, учительском сознании.

И они напишут о страшном, потому что мы, взрослые, заставляем их думать и писать о страшном. Они напишут, что

атомные бомбы были сброшены на Серафиму и Многосаку, своей душой, своим детским слухом присоединяя эти города к России.

Я не буду пока ставить двоек, а буду учить с ними стихи и песни.

Атака

Моя аскетичная комната вряд ли пригодна для жизни. Жизнь я по-прежнему понимаю как праздник, как красоту, а здесь что? И что я вообще здесь делаю? Служу, наверное. Не отбываю же наказание, хотя очень похоже. Главное – не зависать на подобных мыслях, не смотреть по сторонам, а читать и работать.

В субботу ввалились гости – несколько местных парней, не просто напросившихся, а вошедших и заявивших, что не уйдут. По поводу огуречного лосьона на моем столе один из них радостно заметил: «О! И выпивка, и закуска вместе!» Я разозлилась и не стала скрывать своих чувств – гости ошарашенно попятились и вывалились за дверь. Меня озаботило укрепление дверей, потому что двери в доме не закрывались. Электричество отключили, и я осталась в полной темноте, без обогрева, ибо отоплением служил старый электрический камин. Накутанная, забралась под одеяло и уставилась в потолок, тщетно пытаясь уснуть – а что еще оставалось делать?

...Из большой щели в полу и в том, что должно быть плинтусом, вышла крыса и уверенно застучала коготками вдоль стены. Честно говоря, я бы лучше спала в одном помещении с тигром. Не то, чтобы я боялась крыс, но они мне менее приятны, чем тигры.

На следующий день пришло письмо, от которого я на се-

кунду окаменела.

«Ты – моя и, только согласившись с этим, можешь отвечать мне... Хочу ласки, хочу тепла. Или я всё это получаю, или катись ты к дьяволу. Это уже условие... Кроме того, что сам посчитаю нужным отдать, предъявлять мне требования – бесполезная трата сил. Ты – женщина; что тебе нужно, я знаю; что нужно мне, я тоже знаю...»

Вот так вот. Отлично. Ну что же, меня тоже можно разозлить. Злость, ярость, отчаянье, злое бессилие. Как не ответить? Забыв о еде и сне, пишу письмо, вокруг меня куча бумаг, черкаю, рву, и снова пишу:

«Напомнить тебе, что ты раньше писал? Напомнить? Не надо? Напомню всё же, чуть-чуть.

«... слишком многого хочу, но на одно свое “хочу” не наворочу...»

«... любви взаимной на “гоп-стоп” не отстегнешь...»

«... ты всё нужнее и нужнее мне, без всякой отдачи, слышу тебя и этим живу, за это люблю...»

И – "оконцовка". Я не знаю, за кого ты меня принимаешь, но моя душа имеет болезненное свойство воспринимать не слова, а то, что за ними стоит. И тебя – как нечто такое, отчего у меня темнеет в глазах и сердце начинает ныть, как больной ребенок, которого ничем не успокоить».

Боль и тут же радость какая-то, тепло, сильное, как от далекого черного солнца, и греюсь в его лучах – зачем?

Хоть пиши, хоть не пиши теперь – ведь не забыть этого. Надо бы поостеречься. Куда тянет на бездорожье и кто? А зачем ее беречь, душу-то? Может, она хочет истерзаться в ключья? Может, на то она и дана?

Другой мир

Другой мир окружает меня и заключает в объятия, как бы в дружеские или даже любовные объятия. Другой мир – мир человека за решеткой, который настаивает на какой-то своей справедливости и каком-то своем праве.

Деревня – тоже – другой мир. Мир, где бытовые заботы и неурядицы запросто лишают смысла все, чему я училась пятнадцать лет. «Мышка бежала, хвостиком махнула...»

Я поехала в село, и, работая в селе,
Я замазывала знаниями трещины в стекле.
Чтобы стены не шатались, где мышами читан Ким,
Заколачивала Борхесом, крепила Бахтиным.

Баня

Соседка Нина, добрая душа, зазывала всегда в баню – их баня была рядом, во дворе нашего невероятного общежития. Для Нины приглашать, кормить, помогать – естественное состояние.

Не сразу мне поведали, что, кроме личных деревенских бань, здесь есть и общественная. На отшибе, в сторону реки и леса, небольшая такая общественная баня. Как только я об этом узнала, с облегчением туда засобиравшись в первую же субботу, ибо одалживаться банными помывками у соседей и учителей было как-то тягостно. Понятно, что процедура эта семейная, интимная. Да и воду таскать, дрова рубить и экономить потом, чтобы осталось чем мыться чужому человеку, даже не гостю семьи – ну, это как-то... мне было бы, например, неловко. Общественная баня – это же гораздо проще!

Я собрала банный пакет и пошла по дорожке между наметенных уже сугробов, с наслаждением вдыхая запах топимых по всему селу бань – неповторимый запах печного дыма. Меня напутствовали: «Иди, до вечера не жди – остынет: уж натопили, бабы-то уж пошли...»

Я бодренько разделась в предбаннике, полном тепла и морозного пара, одежек, взрослых и детских, прихватила свои шампуни, мочалки и тазик. И, толкнув дверь, оказалась среди банного шума и пара, подслеповато щурясь, а потом, что-

бы не стоять в дверях, бесстрашно шагнула в глубь. Банные голоса вдруг притихли. Когда глаза чуть привыкли, я разглядела чаны с водой и стала было деловито заниматься чудесной церемонией мытья, как вдруг почувствовала – и по наступившей относительной тишине, и просто кожей, – что все остальные женщины этой самой церемонией заниматься почему-то перестали. Они все стояли в разных позах и внимательно меня разглядывали. Даже дети перестали пищать и устали на меня. Я даже не сразу смутилась, потому что не сразу это поняла.

Им было интересно видеть столь отличающееся от них существо. Они были все гораздо ниже меня ростом, коренасты, черноволосы и смуглы, кроме того, темный загар, видимо, не сходил с их кожи никогда. Женщины с сильными, мощными бедрами и выпирающими ключицами, почти безгрудые, видели перед собой полную свою противоположность по сравнению с ними... Очень длинные ноги, нечеловечески длинные... Я вылила на себя первый таз воды и стала ослепительно белой, и покрыла себя белой пеной, спряталась в пене и поклялась себе, что больше никогда не пойду так рано, а буду мыться одна, последней...

«Хороший пес»

... Что я и сделала. Ровно через неделю я пришла в баню, когда ранние зимние сумерки плотно и окончательно сгустились. В избах горел свет, но окна домов казались почему-то очень далекими, а лес, наоборот, приблизился. Баня остывала: она не дышала теплом и жаром, а слегка тянула им, в предбаннике было почти холодно. Никого. Сняв шубу, хотела повесить ее здесь, поближе к двери, но поняла, что раздеваться надо там, внутри.

Я вошла во влажное деревянное тепло и стала не спеша разоблачаться, наслаждаясь одиночеством церемонии и волшебным запахом бани. Плеснула воды в каменный подтопок – печка радостно оживилась, пар с шипеньем закрутился, я поняла, для чего нужна кочерга, и в этом веселом и древнем круженье, в церемонии воды и огня хотелось петь и танцевать. Я мурлыкала и напевала. Вся вода была моя, и холодная, и горячая, все скамеечки и приступочки мои, и полати, и венички, – я плескалась, обливалась и парилась, мылась на славу... Потом оделась – не торопясь, степенно закуталась в платки, открыла дверь в тусклый свет предбанника, шагнула к выходу...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.